

Карпов В.Н.

Воспоминания
История моей жизни

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 82-3
ББК 84-4
В11

В11 **В.Н. К.**
Воспоминания: История моей жизни / Карпов В.Н. – М.: Книга по Требованию, 2023. –
530 с.

ISBN 978-5-519-88504-1

ISBN 978-5-519-88504-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг — не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель — вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания — решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

В. Н. КАРПОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

35
— 88

НИК. ШИПОВ

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА К ПЕЧАТИ

П. Л. ЖАТКИНА

ПРЕДИСЛОВИЕ Н. В. ЯКОВЛЕВА

А С А Д Е М І А

1933

*Переплет и суперобложка
по рисункам Б. В. Шварца.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

1

Есть мемуары, значение которых измеряется либо громким именем автора, либо событиями, в них затронутыми, либо описываемой в них культурной средой, либо, наконец, и тем, и другим, и третьим.

Ни громкого авторского имени, ни важных исторических описаний, низкий культурный и бытовой уровень описываемой среды — таковы предлагаемые читателю мемуары Карпова и Шипова. В таком случае не блещут ли эти страницы тонкой прелестью стиля или психологическим анализом, исполненным наблюдательности и остроты? Нет, они лишены и этих художественных достоинств. Стиль Шипова прост, сух, деловит; характеристики его хотя и не лишены выразительности, тем не менее далеки от живой многогранности и подвижности, которые делают словесный образ наглядным подобием жизни.

Что касается Карпова, то вся его склонность к витиеватым оборотам, кудрявым сравнениям, философским размышлениям обо всем, что бывает на свете, и все его пристрастие к меланхолической, облеченной в стихотворную цитату позе не делают его художником слова. Слишком поверхностны эти экскурсии в область «высокой» поэзии из пределов «презренной» прозы, слишком наивно-кустарными, провинциальными средствами они осуществляются. Их присутствие ведет лишь к тому,

что еще яснее выступает главная цель повествования, которая у Карпова, в сущности, тождественна с шиповской: точно передать, а не изобразить, поведать, а не воплотить. И все воплощающие изобразительные усилия этого мемуариста — даже самые удачные (а есть у него и такие) — клонятся все к той же сообщаемой цели.

Нужно прямо сказать, оба мемуара, будучи измерены по линии духовного роста их авторов, в достаточной мере приземисты, *terre à terre*. И вот эта-то общая им обоим особенность, обычно выступающая как недостаток, и составляет главную ценность обоих. Относительная узость жизненного кругозора делает авторов типичными для своей среды, в то самое время как их жизненная талантливость вздымает их над нею. Это как раз и позволяет нашим мемуаристам выразительно сообщать нам подлинные данные о столь невыразительном, сером, убогом, уходящем в тень, но в то же время столь социально-содержательном житье-бытье российского обывателя во второй четверти прошлого века.

Мемуары Карпова и Шипова — ценные вклады в наше познание общественной физиологии той эпохи. Речь идет именно о физиологии, о тайных, подспудных и притом мелких, клеточных явлениях. Перед нами не штрихи к портрету, не выступающие наружу черты внешней характеристики социального организма, а поперечный разрез, произведенный искусно и потому позволяющий видеть обмен веществ и работу внутренних органов.

И при этом сами авторы суть не что иное, как клеточки того же социального организма, который они описывают. И это обстоятельство приводит к тому, что их показания, далеко уступая свидетельствам художника в

отношении впечатляющей яркости и красноречивого лаконизма образов, дают сильное ощущение подлинной, документальной жизненной правды. Все ими сообщаемое — мы это видим — было подлинно так, как о том сообщается.

2

Одна и та же эпоха, одинокая нивелировка под ее средний уровень — это у наших авторов сходно. Далее идут особенности — личные и общественные, которыми определяется своеобразие каждого.

Карпов — художник, интеллигент, оппозиционно настроенный к крепостническому обществу из сочувствия к крупной буржуазии, купечеству, уже созревшему для того, чтобы заменить помещичью эксплуатацию эксплуатацией буржуазной.

Шипов — коммерсант, выдвинувшийся из недр крепостной крестьянской массы.

Оба они — продукты обуржуазивания дореформенной России, выдвиженцы созревающего в ее недрах, но встречаемого ожесточенным сопротивлением капитализма. Отсюда острый драматизм их общественного положения и — в виду несомненного наличия у обоих талантливой, инициативной натуры — драматизм их восприятия окружающей действительности.

При всем том разница между ними очевидна. Карпов — созерцателен, благодушен, колоритен; Шипов — стремителен, желчен, сух. На этом обстоятельстве не нужно было бы останавливаться, если бы оно было проявлением одних лишь человеческих темпераментов или даже писательских обликов, если бы из-за этих индивидуальных различий не выступал выразительный социальный контраст.

Нет сомнений, и Карпову приходилось гнуться перед

истуканом крепостничества. Об этом красноречиво свидетельствует его столкновение с помещиком-генералом Тарасовым — по поводу нарисованных Карповым по заказу Тарасова икон. Сановитый генерал распек художника за употребление охры, которая годна для полов, а не для лика божьей матери и Иисуса Христа, за недостаточно воинственный вид архангела Михаила и другие несоответствия замыслов художника генеральским представлениям об искусстве. А когда Карпов, возмущенный угрозами этого фронтового мецената, захотел посоветоваться с местным священником, как быть, то услышал в ответ назидательную повесть о землемере, который был высечен бравым воякой за невыгодный для последнего промер земли.

Еще больше гнуло Карповых крепостничество тем, что, идеологически сковывая творческие возможности буржуазной интеллигенции, оно тормозило развитие культуры.

Не даром Карпов скорбит:

«Художники всех специальностей, для того чтобы как-нибудь существовать, должны были приниматься за иконописное мастерство, отбросив, как ненужный хлам, все приобретенные в академии приемы композиции, письма, колорита, перспективы, пластической анатомии и даже экспрессии лиц, так как в иконописной живописи над всеми состояниями человеческого духа царит неизменно одно благоговейно-созерцательное настроение».

«Социальный заказ» на святость предъявляется закостеневающим крепостническим обществом к молодой буржуазной интеллигенции очень жестко; неисполнение каралось чувствительно, что видно из следующих слов Карпова:

«И вот художник, насидевшись вдоволь без зака-

зов и без продажи картин, начинает хлопотать о месте и, пристроившись в гимназию учителем чистописания и рисования, складывает свои художнические доспехи и начинает выводить прежде элементы буквы, а потом отдельные буквы и, наконец, целые слова. А впереди... старость, со слабостью зрения, и пряжка за сорок лет службы, без пенсий».

Противоречие между упорствующим крепостничеством и шагающим ему на смену капиталистическим строем и на фронте искусства ощущалось очень болезненно:

«И для того чтобы заполучить такие великие блага мира сего, — горестно заканчивает Карпов свои рассуждения, — нужно было строить громадное здание Академии, с завидным штатом служащих, а учащимся — пробыть на скамьях не менее шести лет, а затем художникам с выдающимися способностями ехать на три года пансионерами за границу для приобретения высших знаний по искусству и высшего звания по академическому уставу».

3

Идеологическое и организационно-общественное ущемление, которому подвергалась буржуазная интеллигенция, толкало ее на более или менее резкое противоречие с крепостнической действительностью. Ущемление это делало дореформенную интеллигенцию чувствительной к социальной несправедливости, где бы она ни проявлялась.

У Карпова мы найдем резко выраженную защиту буржуазных порядков против произвола крепостнически-бюрократического государства. Однако справедливость требует признать, что и противоречия внутрибур-

жуазных отношений не оставлены у него вне поля зрения. Если негодование его возбуждено харьковским генерал-губернатором Кокоткиным, обращающимся с промышленниками, имевшими неосторожность взять у него казенный подряд, как со своими крепостными, то судьба «второй половины города Харькова» волнует его не меньше:

«Имея самые скудные права на благо жизни, а некоторые даже и менее того, мещане, цеховые, государственные крестьяне и, наконец, оброчные и на выкуп взятые купцами крепостные люди всегда должны были быть настороже, так как привилегированные сословия — дворяне, чиновники и купцы — безнаказанно могли издеваться над ними, эксплуатировать их труд и даже подвергать побоям и телесному наказанию».

Автор ввел в свои мемуары, на ряду с яркими эпизодами борьбы между бюрократией и капитализмом, также случаи угнетения труда.

Точнее, эти два момента выступают у него слитно, как это и было в жизни. Ибо бюрократическое государство, служа орудием классу крепостников в их борьбе с капиталом, становилось общим орудием крепостничества и капитализма всякий раз, как эти два полуврага-полудруга объединялись против своего общего противника — труда.

В этом смысле очень характерно, что Карпов выделяет прямое насилие «первой половины» обывателей города, т. е. людей, одаренных то знатностью рода, то привилегиями сословий, то богатством, над «второй половиной», т. е. мещанами, цеховыми, государственными крестьянами, оброчными и взятыми на выкуп крепостными.

Крепостническое насилие проникает во все поры описываемого им социального организма — сверху донизу.

Об этом Карпов повествует очень ярко. Но он не ограничивается повествованием, а идет дальше, объясняя источник насилия. Он объясняет его не только бесправием крепостнического строя, но также ущербленностью капиталистических отношений в недрах крепостнического государства:

«В те годы... не было банков, куда бы можно было скромному труженику положить на хранение сбереженные им рубли. Не было и кредита для тех, которые нуждались в нем для расширения своего торгового дела или для оборота вообще. Но при всех насущных и неотложных потребностях жизни, если нет настоящего жизненного материала, то взамен его является суррогат, который, как известно, не всегда полезен, но почти всегда вреден».

Как на такой суррогат кредитных и сберегательных учреждений Карпов указывает на ростовщичество. Он проводит перед читателем целую вереницу ростовщиков, яркими штрихами обрисовывая их метод, и читателю предоставляется решить, где тут кончается коммерческая сделка и начинается прямое насилие, — чаще всего в форме шантажа.

4

Подобных черт, выражающих основное противоречие той эпохи, читатель найдет в воспоминаниях Карпова множество. Без преувеличения можно сказать, что из-за каждого факта, им сообщаемого, выглядывает все то же противоречие. Помещичий, крепостнический и самодержавный строй, повидимому, еще незыблемо крепок. Новый ветер еще не долетает не только в захолустье, но и в такой крупный торгово-промышленный центр, как Харьков.

Еще цельные натуры кобелятся во-всю. Еще раньше выдвинуты технической интеллигенции, несущей столь нужные капиталу изобретения, кидаются под колеса экипажей, неоцененные, отвергнутые, травимые. «Луч света» еще не проникал в это «темное царство», нашедшее свое образное воплощение под пером Писемского и Островского. «Только на востоке, — осторожно и мимоходом замечает Карпов, — едва заметной полосой занималась между разорвавшимся пластом нависшей тучи светила отрадная заря новой жизни. Севастопольская война была в полном разгаре».

Но сквозь всю эту неподвижность, незыблемость, монолитность быта, нравов, управления, культуры во всех слоях населения раздвоение проступает отчетливо. Каждое явление, каждое лицо, каждое событие как бы раскалывается надвое, пронизанное невидимой трещиной. В старой скорлупе уже проросло новое ядро: вот-вот оно прободает затвердевшую оболочку и пустит к свету зеленый росток.

И это предчувствие наполняет напряженным социальным драматизмом столь спокойные по тону, эпические по ритму сменяющих друг друга разнообразных картин страницы воспоминаний.

Но драматизмом этим полны не только факты, сообщаемые в воспоминаниях Карпова: ими полон и сам автор воспоминаний. В нем самом гнездились противоречия его класса и эпохи.

И здесь начинается резкое различие между Карповым и Шиповым.

Отмеченные нами созерцательность, благодушие, колоритность Карпова — не только черты его личного стиля, но и принадлежность его мироощущения.

Карпов рисует много отталкивающего. В сущности он рисует мир обреченный и самой обреченностью своей